Зимний рынок

Сожжение Хром - 8

Уильям Гибсон

SHOUT
SHARE
IT

- Зимний рынок
  -
- notes
  - 01
  - 02

Зимний рынок

Здесь часто идут дожди. Зимой бывают дни, когда вообще света не видно: в небе лишь размытая серая муть. Но изредка занавес отдергивается, и минуты на три открывается вид на залитую солнцем и как бы висящую в воздухе вершину горы – будто эмблема перед началом фильма, снятого на студии самого Господа. Вот как раз в такой день и позвонили агенты Лайзы из глубин своей зеркальной пирамиды на бульваре Беверли. Сообщили, что она уже в сети, что ее больше нет и что «Короли грез» идут на «тройную платину». Я редактировал почти весь материал в «Королях», готовил эмоциокарту и все это микшировал, так что и мне там кое-что причиталось.

«Нет, – сказал я. – Нет». Затем: «Да». Еще раз: «Да». И повесил трубку. Взял пиджак и, шагая через три ступеньки, направился прямиком в ближайший бар. Восьмичасовое помутнение закончилось на бетонном карнизе в двух метрах над темной, как полночь, водой Фалс-Крик... Вокруг – огни города и все та же опрокинутая серая чаша небосклона, только поменьше и в отблесках неона и ртутных ламповых дуг. Шел снег, крупные редкие снежинки; они падали на черную воду и исчезали без следа. Я бросил взгляд вниз, на свои ноги, и увидел, что носки туфель выступают за бетонный карниз, а между ними все та же темная вода. На мне были японские туфли, новые и дорогие, «Гинза», из тонкой мягкой кожи, с резиновыми носками... Не знаю, сколько на самом деле прошло времени – наверно, много, – прежде чем я сделал тот первый шаг назад.

Наверно, я стоял так долго, потому что ее уже нет, и это я позволил ей уйти. Потому что теперь она бессмертна, и помог ей тоже я. Потому что знал: она обязательно позвонит. Утром.

Отец мой был инженером звукозаписи. Еще тогда, до цифровых дел. Процессы, которыми он занимался, относились больше к механике – есть в этом что-то такое неуклюжее, квазивикторианское, знаете, как во всей технологии двадцатого века. В общем, человек его профессии – скорее просто токарь. Ему приносили аудиозаписи, и он нарезал звуки на дорожках, накатанных на лаковом диске. Затем делалась гальваническая обработка, и в конце концов получались формы для штамповки пластинок, этих черных штуковин, которые еще можно увидеть в антикварных магазинах. Помню, он мне как-то рассказывал, за несколько месяцев до смерти, что определенные частоты – кажется, он называл их «транзиенты» – могут запросто сжечь

головку, ту, что нарезает звуковые дорожки. Они тогда черт-те сколько стоили, и чтобы избежать пережогов, использовалась такая штука, которая у них называлась «акселерометр». Вот об этом я и думал, стоя над водой: сожгли-таки.

Да, именно.

Причем она сама этого хотела.

Тут уж никакой акселерометр не спасет.

По пути к кровати я отключил телефон. Правда, сделал это немецким студийным треножником, так что починка встанет не меньше чем в недельный заработок – это я про треножник.

Спустя какое-то время очнулся, взял такси и отправился на Гранвилл-Айленд, к Рубину.

Рубин для меня в каком-то смысле и повелитель, и учитель – как говорят японцы, «сэнсэй», – хотя это трудно объяснить. На самом деле он скорее повелитель мусора, хлама, отбросов, бескрайних океанов выброшенного барахла, среди которых плывет наш век. *Гоми но сэнсэй.* Повелитель мусора.

Когда я нашел его на этот раз, Рубин сидел между двумя механическими ударными установками довольно зловещего вида. Раньше я их не видел: ржавые паучьи лапы, сложенные в центре двух созвездий из побитых стальных барабанов – банок, собранных на свалках Ричмонда. Он никогда не называет свое жилище студией и никогда не говорит о себе как о художнике. «Так, дурака валяю», – характеризует он свои занятия, словно для него это продолжение тягучих и скучных мальчишеских дней где-нибудь на заднем дворе фермы. Рубин бродит по этому захламленному, забитому всякой всячиной мини-ангару, прилепившемуся на краю Рынка у самой воды, а за ним неотступно следуют его наиболее умные и шустрые творения – этакий добродушный Сатана, озабоченный планами еще более странных процессов в подвластном ему мусорном аду. Помню, одно время он программировал свои конструкции, чтобы они распознавали гостей в одежде от самых модных модельеров сезона и обкладывали их на чем свет стоит; другие его детища вообще непонятно что делают, а часть создается, похоже, лишь для того, чтобы саморазрушаться, производя при этом как можно больше грохота. Рубин, он как ребенок, но в выставочных залах Токио и Парижа за его произведения платят бешеные деньги.

Я рассказал ему о Лайзе. Он позволил мне выговориться, затем кивнул:

– Знаю. Какой-то урод из Си-би-си звонил мне уже восемь раз. – Он сделал глоток из своей побитой кружки. – «Дикая индейка», хочешь?

– Почему они тебе звонят?

– Потому что мое имя есть на обложке «Королей грез». В посвящении.

– Я еще не видел диска.

– Она тебе пока не звонила?

– Нет.

– Позвонит.

– Рубин, ее уже нет. И тело кремировали.

– Знаю, – сказал он. – Но она все равно позвонит.

Гоми.

Где кончается гоми и начинается мир? Уже лет сто назад японцам некуда было сваливать гоми вокруг Токио, так они придумали, как делать из гоми жизненное пространство. В 1969 году японцы выстроили в Токийском заливе небольшой островок, целиком из гоми, и назвали его Островом Мечты. Но город непрерывным потоком выбрасывал свои девять тысяч тонн гоми в день, и вскоре они построили Новый Остров Мечты, а сегодня технология отлажена, и новые японские территории растут в Тихом океане, как грибы после дождя. Об этом рассказывают по телевизору в новостях. Рубин смотрит, но никак не комментирует.

Зачем ему говорить о гоми? Это его среда обитания, воздух, которым он дышит. Всю свою жизнь он плавает в гоми как рыба в воде. Рубин мотается по округе в своем грузовике-развалюхе, переделанном из древнего аэродромного «мерседеса», крышу которого закрывает огромный, перекатывающийся из стороны в сторону полупустой баллон с природным газом. Он постоянно что-то ищет, какие-то вещи под чертежи, нацарапанные изнутри на его веках кем-то, кто выполняет у него роль Музы. Рубин тащит в дом гоми. Иногда гоми еще работает. Иногда, как в случае с Лайзой, дышит.

Я встретил Лайзу на одной из вечеринок у Рубина. Он часто устраивает вечеринки. Сам их не особенно любит, но вечеринки у него всегда классные. Я уже счет потерял, сколько раз той осенью просыпался на пенопластовой плите под рев древней автоматической кофеварки Рубина – этакого полированного монстра, на котором восседает огромный хромированный орел. Отражаясь от стен из гофрированного металла, звук превращается в жуткий рев, но в то же время и здорово успокаивает. Ревет – значит, будет кофе. Значит, жизнь продолжается.

В первый раз я увидел ее в «кухонной зоне». Это не совсем кухня, просто три холодильника, плитка и конвекторная печка,

которую он притащил в числе прочего гоми. Первый раз: она стоит у открытого, «пивного», холодильника, а оттуда на нее падает свет. Я сразу заметил скулы, волевую складку рта, но также заметил черный блеск полиуглерода у запястья и блестящее пятно на руке, где экзоскелет натер кожу. Я тогда был слишком пьян, чтобы все это понять, но все же сообразил: что-то здесь не то. И я поступил точь-в-точь так, как люди обычно поступают с Лайзой: переключился «на другое кино». Вместо пива направился к винным бутылкам, что стояли на стойке у печи, и даже не оглянулся.

Но она сама меня нашла. Часа два спустя заметила и, грациозно лавируя между людьми и горами хлама, подошла. Жутковатая, надо заметить, грациозность, но так уж эти экзоскелеты программируют. Глядя, как она приближается, я уже понял, что у нее экзоскелет, но от смущения не сообразил, что можно спрятаться, отойти или, невнятно извинившись, просто смыться. Так и стоял как столб, обняв за талию какую-то незнакомую девицу.

Лайза карикатурно-грациозно двигалась – вернее, ее двигало – прямо ко мне; девица вдруг засуетилась, вывернулась и ускользнула в толпу. Лайза остановилась напротив; тонкий, словно нарисованный карандашом, полиуглеродный протез застыл, удерживая тело в равновесии. Я посмотрел ей в глаза – впечатление было такое, будто я слышу, как работают ее синапсы: невыносимо высокий визг крохотных механизмов, открывающих под действием магика доступ в каждую микросхему ее мозга.

– Пригласи меня домой, – сказала она, и каждое слово – как удар хлыстом.

Кажется, я покачал головой.

– Пригласи.

В голосе и боль, и нежность, и удивительная жесткость.

Только в это мгновение я вдруг понял, что меня никто еще не ненавидел так глубоко и отчаянно, как сейчас эта изможденная болезнью девчонка – за то, как я посмотрел на нее и отвернулся, там, у «пивного» холодильника Рубина.

И тогда я сделал то самое, что все мы иногда делаем непонятно почему, хотя какая-то часть души точно знает, что иначе нельзя.

Я пригласил ее домой.

У меня всего две комнаты в старом ветшающем строении на углу Четвертой и Макдональд-стрит, десятый этаж. Лифты обычно работают. Если сесть на ограждение балкона и, держась за угол соседнего дома, откинуться назад, можно увидеть

небольшой вертикальный срез моря и гор.

По дороге от студии Рубина до дома Лайза не проронила ни слова. Я уже достаточно протрезвел и, отпирая дверь, чувствовал себя ужасно неуютно.

Первое, что она увидела в квартире, был портативный эмоциомикшер, который я притащил домой из «Автопилота» предыдущим вечером. Экзоскелет немедля перенес ее через залитый светом пыльный пол ближе – ну прямо манекенщица на подиуме. Теперь, когда не мешал шум вечеринки, я слышал мягкие щелчки суставов. Лайза чуть наклонилась, разглядывая эмоциомикшер, и теперь мне стали видны выделяющиеся под черной кожаной курткой ребра экзоскелета. Наверно, одна из этих болезней, подумал я тогда. Или какая-нибудь старая, с которыми так и не научились справляться, или из новых, скорее всего экзогенных, – половине из них и названий-то еще не придумали. Без экзоскелета с микроэлектронным интерфейсом прямо в мозг она просто не могла двигаться. Эти хрупкие на вид полиуглеродные прутики двигали ее руками и ногами, а пальцами управляли более тонкие гальванические накладки. Я вспомнил о школьных уроках, где лягушки дрыгают лапками под воздействием тока, и тут же устыдился.

– Это ведь эмоциомикшер... – произнесла она каким-то новым, словно издалека, голосом, и я подумал, что действие магика, должно быть, проходит. – Зачем он тебе?

– Я на нем редактирую, – ответил я, закрывая входную дверь.

– Ну да! – Она рассмеялась. – И где же?

– На Острове. Есть такая студия, называется «Автопилот».

Лайза посмотрела на меня через плечо, затем, уперев руку в бедро, повернулась – или ее повернуло? Серые поблекшие глаза вдруг кольнули меня целой гаммой переживаний – и ненависть, и действие магика, и какая-то пародия на желание.

– Хочешь меня, редактор?

Я снова почувствовал удар хлыста, но нет, теперь-то меня так просто не возьмешь... Я уставился на нее холодным взглядом – словно из какого-то отупевшего от пива центра своего ходячего, говорящего, подвижного, совершенно обыкновенного организма – и слова вырвались у меня будто плевок:

– А ты что-нибудь почувствуешь?

Бум! Может, она моргнула, но на лице ничего не отразилось.

– Нет. Но иногда я люблю смотреть.

Два дня спустя после ее смерти в Лос-Анджелесе. Рубин стоит у окна и смотрит, как падает снег в воду Фалс-Крик.

– Так ты с ней ни разу не переспал?

Одна из его электронных игрушек, маленькая, словно

сбежавшая с полотен Эшера, ящерица на роликах, поджав хвост, ползает передо мной по столу.

– Нет, – говорю я, и это правда, отчего мне вдруг становится смешно. – Но мы врубились напрямую. В ту самую первую ночь.

– С ума сошел, – говорит Рубин, хотя в голосе чувствуется одобрение. – Ты мог себя угробить. Сердце могло остановиться или дыхание... – Он отворачивается к окну. – Лайза еще не звонила?

Мы врубились. Напрямую.

Раньше я никогда этого не делал. И если бы вы спросили меня почему, я бы ответил, что работаю редактором, а врубаться напрямую непрофессионально.

Однако правда выглядит скорее так.

Среди профессионалов – имеется в виду легальный бизнес, я никогда не занимался порнухой – необработанный материал называют «сухими снами». Сухие сны – это нейрозапись уровней сознания, которые большинству людей доступны только во сне. Но художники, те, с кем я работаю в «Автопилоте», способны преодолеть это поверхностное натяжение, нырнуть глубже, на самое дно моря Юнга, и достать оттуда... ну, в общем, да, именно сны. Для простоты сойдет. Очевидно, многие художники были способны на это и раньше – в живописи, в музыке и так далее – но нейроэлектроника дала нам возможность прямого доступа к их ощущениям. Теперь это можно записать, оформить, продать... и проследить, насколько товар популярен. Мир меняется, мир меняется, как говаривал мой отец.

Обычно я получаю необработанный материал в студийных условиях, уже прошедший через электронные фильтры и прочую аппаратуру стоимостью в несколько миллионов долларов, и мне не нужно видеть самого художника. А то, что мы выдаем потребителю, структурировано, сбалансировано и превращено в искусство. До сих пор есть наивные люди, которые полагают, будто им и в самом деле понравится, если подрубиться напрямую к кому-то, кого они, например, любят. Большинство подростков, видимо, пробуют – хотя бы раз. Это несложно. «Рэйдио Шэк»[01] совсем недорого продает и ящик, и электроды, и провода. Но сам я никогда этого не делал. Даже теперь, все обдумав, я вряд ли смогу объяснить почему. И вряд ли захочу.

Но я знаю, почему сделал это тогда, с Лайзой. Посадил ее на мексиканский диван и воткнул штекер оптовывода в гнездо у нее на позвоночнике – на гладком, похожем на плавник выступе экзоскелета почти у шеи, где его скрывали длинные темные волосы.

Я сделал это, потому что она назвала себя художницей, потому что в каком-то смысле мы оказались непримиримыми противниками и я ни в коем случае не хотел проиграть сражение. Может, вам этого не понять, но ведь вы никогда и не знали ее или узнали только через «Королей грез», а это не одно и то же. Вы никогда не чувствовали ее жуткий в своей целеустремленности голод, голод в паре с иссушающим желанием. Меня всегда пугали люди, которые точно знают, чего они хотят, а Лайза знала, что ей нужно, уже очень давно, и больше ее ничего не интересовало. Я боялся тогда признаться себе, что напуган, и, кроме того, в микшерной «Автопилота» мне довелось видеть достаточно много чужих снов, чтобы понять: то, что порой представляется людям этакими «внутренними монстрами», слишком часто оказывается в ровном освещении собственного сознания смехотворным, мелочным и глупым. К тому же я был пьян.

Нацепив электроды, я потянулся к тумблеру эмоциомикшера. Я отключил все его студийные функции и на время превратил восемьдесят тысяч долларов японской электроники в эквивалент одного из тех ящиков, что продаются в «Рэйдио Шэк».

– Поехали, – сказал я и щелкнул тумблером.

Слова... Слова бессильны. Ну разве что едва-едва способны... Если бы я знал, как передать, что из нее вырвалось, что она со мной сделала...

В «Королях грез» есть один фрагмент... Вы мчитесь на мотоцикле в полночь по шоссе, где за отвесным краем, далеко внизу, море; никаких огней вокруг, но вам свет и не нужен; мотоцикл несется так быстро, что вы будто висите вместе с ним в конусе тишины, потому что звук за вами не поспевает, теряется – все теряется позади.

В «Королях» это лишь миг, но такие мгновения просто не забываются, даже в ряду тысяч других, и вы возвращаетесь к ним постоянно, навсегда включив их в свой словарь ощущений. Потрясающий фрагмент! Свобода и смерть, прямо здесь, рядом, вечный бег по лезвию бритвы...

Но я получил все это навалом, в необработанном, чудовищно усиленном виде, стремительным напором, бомбой, взорвавшейся в пустоте, перенасыщенной нищетой, одиночеством и безвестностью.

И этот стремительный напор, увиденный мной изнутри, – и она сама, и ее цель.

Мне хватило, наверно, четырех секунд.

Разумеется, она победила.

Я снял электроды и уставился невидящими от слез глазами на плакаты в рамах на стене.

На нее я смотреть не мог. Слышал только, как она отсоединила оптический вывод, как скрипнул экзоскелет, поднимая Лайзу с дивана, как он защелкал, унося ее на кухню за стаканом воды.

Я заплакал.

Рубин вставляет в брюхо игрушки на роликах тонкий щуп и разглядывает микросхемы через увеличительное стекло, подсвечивая себе крохотными фонариками на висках.

– И тебя зацепило.

Он пожимает плечами и поднимает взгляд. В студии уже темно, и мне в лицо бьют два узких луча света. В металлическом ангаре Рубина холодно и сыро. Откуда-то издалека, с берега, доносится сквозь туман предупреждающий вой сирены.

– Да?

Теперь моя очередь пожимать плечами.

– Видимо… Я не выбирал…

Лучи света вновь опускаются в силиконовые внутренности сломанной игрушки.

– Тогда все нормально. Ты правильно поступил. Я имею в виду, она давно решила, что ей нужно. И к тому, что она сейчас там, ты причастен не больше, чем, скажем, твой эмоциомикшер. Не ты, так она бы еще кого-нибудь нашла…

Я договорился с Барри, старшим редактором, и выторговал себе двадцать минут на пять утра.

Промозглым сентябрьским утром Лайза пришла и окатила меня тем же набором ощущений, но теперь я был готов. Фильтры, эмоциокарты и прочее – короче, мне не пришлось переживать все это заново с такой же силой. Затем я недели две выкраивал минуты в редакторской, делал из ее записи нечто, что можно показать Максу Беллу, владельцу «Автопилота».

Белл не особенно обрадовался, когда я объяснил, что принес. Скорее даже наоборот. От редакторов, которые разрабатывают собственные проекты, как правило, одни неприятности: каждый такой редактор рано или поздно решает, что он наконец «открыл» кого-то, кто станет новой звездой, но кончается это почти всегда пустой тратой времени и денег. Белл кивнул, когда я закончил рекламировать Лайзу, затем почесал нос колпачком фломастера.

– Угу. Понял. Самый крутой хит с тех пор, как рыбы отрастили ноги, да?

Однако он подключился к демонстрационному софту, который я смикшировал, и, когда диск выскочил из прорези его настольного «Брауна», Белл долго сидел с застывшим лицом, уперев взгляд в стену.

– Макс?

– А?

– Что ты об этом думаешь?

– Я?. . Думаю?. . Как, ты сказал, ее зовут? – Он моргнул. – Лайза? И кто, говоришь, ее подписал?

– Лайза… Никто, Макс. Пока она ни с кем ничего не подписывала.

– Боже правый… – пробормотал Белл, так и не оправившись от потрясения.

– Знаешь, как я ее нашел? – спрашивает Рубин, шаря по рваным картонным коробкам в поисках переключателя.

Коробки заполнены старательно рассортированным гоми: литиевые аккумуляторы, танталовые конденсаторы, штекеры, хлебные доски, липкая лента для ограждений, феррорезонансные трансформаторы, мотки проволоки… В одной из коробок лежат несколько сотен оторванных голов кукол Барби, в другой – похожие на перчатки скафандра металлизированные рукавицы для опасных работ. Ангар залит светом; раскрашенный в духе Кандинского жестяной богомол поворачивает голову размером с мячик для гольфа в сторону самой яркой лампочки.

– Я ездил в Гринвилл, искал новое гоми. Забрел в какую-то аллею и вижу – сидит. Я заметил экзоскелет, да и выглядела она не очень. Спросил, что с ней. Молчит, только глаза закрыла. Ну, думаю, ладно, я, в конце концов, не за этим приехал. Но спустя часа четыре возвращаюсь тем же маршрутом, а она все еще сидит. «Слушай, – говорю, – милая, может, у тебя барахлит эта чертовщина? Так я могу помочь». Молчит. Ну я и пошел.

Рубин подходит к рабочему столу и гладит тонкие металлические конечности богомола бледным пальцем. За столом на вспухших от влаги щитах из прессованного картона висят плоскогубцы, отвертки, пистолеты с клейкой лентой, ржавая духовушка «Дэйзи», ножницы, щипцы, щупы-тестеры, паяльная лампа, карманный осциллоскоп – кажется, тут собраны все инструменты, когда-либо изобретенные человечеством, и никто даже не пытался рассортировать их, хотя я еще ни разу не видел, чтобы Рубин, протянув руку, ошибся.

– Потом я все-таки вернулся, – продолжает он. – Спустя, наверно, час. Она к тому времени уже отключилась. Я ее притащил сюда и проверил экзоскелет. Оказалось, сдохли аккумуляторы. Видимо, она уползла туда на остатках энергии и осталась умирать с голоду.

– Когда это было?

– Примерно за неделю до того, как ты увел ее к себе.

– Но если бы она умерла? Если бы ты ее не нашел?

– Кто-нибудь другой нашел бы. Но она просто не могла ни о чем попросить сама, понимаешь? Только принять, если предложат. Не хотела быть в долгу.

Макс нашел для нее агентов, и на следующий день прилетела троица младших партнеров из какого-то агентства – чистенькие, гладенькие, как на картинке. Лайза отказалась встречаться с ними в «Автопилоте» и настояла, чтобы мы привезли их к Рубину, где она все это время жила.

– Добро пожаловать в Кувервиль, – сказал Рубин, когда они просочились в дверь.

Его вытянутое лицо было вымазано машинным маслом, а ширинка рабочего комбинезона держалась на скрепке. Молодые люди автоматически улыбнулись, но у девицы улыбка получилась более естественной.

– Мистер Старк, – заговорила она, – я на прошлой неделе была в Лондоне и видела в выставочном зале «Тэйт» вашу скульптуру.

– «Батареечная фабрика Марчелло», – ответил Рубин. – Британцы говорят, что это, мол, копрология. – Он пожал плечами. – Одно слово, британцы. Хотя, может, они и правы.

– Правы. Но это еще и очень забавно.

Молодые люди в костюмах сияли, как два маяка. Демонстрационная запись уже попала в Лос-Анджелес, и они знали, зачем приехали.

– Значит, вы и есть Лайза, – сказала девушка, пробираясь к ней между развалами гоми. – Скоро вы станете очень знаменитой, Лайза. Нам о многом надо поговорить.

Лайза, поддерживаемая своим экзоскелетом, стояла неподвижно, и выражение лица у нее было такое же, как тогда, у меня дома, когда она спросила, хочу ли я с ней переспать. Но если эта девица из агентства и заметила что-то, она ничем себя не выдала. Профессионализм.

Я пытался убедить себя, что я тоже профессионал.

И заставил-таки успокоиться.

Повсюду вокруг рынка горят в железных бочках костры из мусора. Все еще идет снег, и подростки жмутся поближе к огню, как артритные вороны, переминаются с ноги на ногу, запахиваясь от резкого ветра в свои темные пальто. Выше, в артистических трущобах, висят чьи-то замерзшие на веревках простыни – огромные розовые листы на фоне тусклых зданий и мешанины из спутниковых антенн и панелей солнечных батарей. Крутится, не

переставая, ветряной генератор, собранный кем-то из экологически озабоченных жильцов: вот, мол, фиг вам вместо платы за электричество.

Рубин шлепает рядом в заляпанных краской кедах, втянув голову за воротник огромной, явно не по росту армейской куртки. Время от времени его узнают, кто-нибудь показывает пальцем и говорит: вон, мол, пошел этот тип, который делает все эти сумасшедшие штуковины – роботов и прочее дерьмо.

– Знаешь, почему тебе сейчас трудно? – спрашивает он, когда мы заходим под мост, двигаясь к Четвертой улице. – Ты из тех, кто всегда читает инструкции. Все, что люди придумывают, любая техника служит определенной цели. Техника должна делать что-то такое, что люди уже понимают. Но если это новая техника, она открывает новые горизонты, о которых раньше никто не догадывался. Ты всегда читаешь инструкции и ни за что не станешь экспериментировать. И ты заводишься, когда кто-нибудь использует технику для того, о чем ты сам не додумался. Вот как с Лайзой.

– Она не первая.

Над нами грохочет транспорт.

– Да, но она наверняка первая из тех, кого ты знал лично. Лайза взяла и переписала себя в память машины. Тебе ведь до лампочки было, когда года три-четыре назад сделал то же самое этот, как его там, француз, писатель, верно?

– Пожалуй. Так, подумал я, рекламный трюк...

– А он, между прочим, все еще пишет. И самое интересное, будет писать и дальше – если кто-нибудь не подорвет его машину.

Я вздрагиваю, трясу головой.

– Но это ведь не он, верно? Всего лишь программа.

– Любопытная мысль... Трудно сказать с уверенностью. Однако что касается Лайзы, мы узнаем. Она ведь не писатель.

«Короли», считай, были уже готовы, упакованы у нее в черепе, как ее тело в клетке экзоскелета.

Агенты сделали ей контракт с крупной фирмой и выписали из Токио рабочую группу. Лайза заявила им, что хочет редактором только меня. Я отказался. Макс затащил меня к себе в кабинет и пригрозил уволить, если не соглашусь. Без меня им просто незачем было работать в студии «Автопилота». Ванкувер едва ли можно назвать центром индустрии, и агенты Лайзы хотели, чтобы она работала в Лос-Анджелесе. Для Макса этот контракт значил большие деньги, а для «Автопилота» – шанс пробиться в высшую лигу. Я же даже не мог объяснить ему, почему отказываюсь: слишком все было заумно и слишком лично.

Если я соглашусь, мол, она одержит последнюю победу. Так мне, во всяком случае, тогда казалось. Но Макс был настроен серьезно. Он просто не оставил мне никакого выбора, и мы оба знали, что другую работу я сейчас быстро не найду. В общем, мы вернулись вместе и сказали агентам, что все утрясли: я готов работать.

В ответ – три белозубые улыбки.

Лайза достала заполненный магиком ингалятор и прямо при всех приняла чудовищную дозу. Мне показалось, что девушка из агентства чуть приподняла бровь, но не больше. Бумаги были подписаны, и Лайза могла делать все, что хочет, – до определенной степени, конечно.

А Лайза всегда знала, чего ей хочется.

«Королей» – по крайней мере их основу – мы записали за три недели. Все это время я находил множество причин, чтобы не бывать у Рубина, иногда даже сам верил в то, что придумывал. Лайза по-прежнему оставалась у него, хотя агентов это не очень устраивало: они считали, что там просто небезопасно. Рубин позже сказал мне, что ему пришлось связаться со своим агентом, чтобы тот позвонил им и поскандалил, после чего они вроде бы отстали. Я даже не знал, что у Рубина есть агент. С ним почему-то легко забывалось, что на самом деле Рубин Старк – очень известный человек, известнее, чем все, кого я знал, и уж наверняка известнее, чем, по моим представлениям, могла стать Лайза. Я понимал, что мы работаем с классным материалом, но в нашем деле трудно предугадать, как хорошо пойдет та или иная запись.

Однако там, в «Автопилоте», я работал с ней время от времени напрямую. Лайза просто поражала.

Она словно родилась для этой формы искусства, хотя на самом деле, когда Лайза появилась на свет, технологии, давшей эмоциозаписи жизнь, и в помине не было. Невольно закрадывалась мысль: сколько же тысяч – или миллионов? – феноменальных художников так и умерли за прошедшие века, не выразив себя, – все, кто не могли стать поэтами, живописцами или саксофонистами, хотя у них был дар, электроимпульсы в мозгу, ждущие лишь микросхем, которые сделают их фантазии доступными другим...

Работая с Лайзой в студии, я кое-что о ней узнал – так, всякие мелкие подробности. Родилась она в Виндзоре. Отец был американцем, воевал в Перу, вернулся домой сдвинутый и почти слепой. Болезнь у нее врожденная. Нарывы и раздражение на коже, потому что она никогда не снимает экзоскелет: от одной только мысли, что она станет беспомощна, Лайза начинает задыхаться, она уже давно пристрастилась к магику и в день

принимает столько, что хватило бы на целую футбольную команду.

Врачи, которых наняли ее агенты, изготовили пористые прокладки под полиуглеродные прутья, залечили и забинтовали распухшие нарывы, накачали Лайзу витаминами и попробовали посадить на диету, но никто даже не пытался отобрать у нее ингалятор.

Кроме того, агенты притащили с собой парикмахеров, косметологов, модельеров, специалистов по имиджу и команду шустрых «хомяков» из отдела по связям с общественностью. Лайза переносила все издевательства, можно сказать, с улыбкой.

Но все эти три недели мы почти не разговаривали. Только чисто студийные дела, то, что обычно бывает между художником и редактором, сплошные термины. Ее воображение создавало такие сильные, предельно ясные картины, что ей почти не приходилось объяснять мне отдельные эффекты. Я брал ее записи, обрабатывал и прогонял ей то, что получалось. Она говорила «да» или «нет». Обычно «да». Агенты заметили это, одобрили и, похлопав Макса Белла по спине, пригласили его пообедать. Мне сразу же дали прибавку.

Я действительно хороший профессионал. Дельный, внимательный, чуткий. Я решил, что теперь уже не сломаюсь, и старался не вспоминать ту ночь, когда плакал. Кроме того, я прекрасно понимал, что за всю свою жизнь ничего лучше «Королей» еще не делал, а это тоже своего рода кайф.

Однажды утром, около шести, после долгой-долгой записи – Лайза выдала тогда ту жутковатую сцену с котильоном, ее еще называют «Танец призраков» – она со мной заговорила. Один из парней-агентов околачивался в студии всю ночь, скалился, но под утро ушел, и в «Автопилоте» воцарилась мертвая тишина, только в кабинете Макса работал кондиционер.

– Кейси, – сказала Лайза хриплым от магика голосом, – извини, что я так на тебя… навалилась.

На секунду я подумал, что она говорит о записи, которую мы только что сделали. Затем поднял взгляд, увидел ее, и мне пришло в голову, что мы остались одни. Последний раз такое было, когда я готовил демонстрационную пленку.

Я не знал, что ей ответить. Не понимал даже, что у меня на душе.

Экзоскелет в буквальном смысле подпирал ее, держал на ногах, и сейчас она выглядела еще хуже, чем в тот вечер, когда мы встретились у Рубина. Даже макияж, который постоянно обновляли спецы по косметике, не спасал: магик поедал ее изнутри, и временами казалось, что за маской-лицом не особенно

привлекательной девчонки, по сути подростка, проглядывает череп с пустыми глазницами. Кстати, я даже не знал, сколько ей лет. Не стара и не молода, по виду вообще не поймешь…

– Эффект наклонной плоскости, – произнес я, сматывая провод.

– Как это?

– Таким образом природа предупреждает, что пора задуматься, – своего рода математический закон: на любом возбуждающем средстве настоящий кайф можно словить только несколько раз, даже если увеличивать дозы. Никогда больше не будет такого же кайфа, как в самом начале. Во всяком случае, не должно быть. Это, кстати, общий недостаток всех модельных наркотиков: они слишком хитро сконструированы. У чертовщины, что ты вдыхаешь, на какой-нибудь из молекул есть маленький хвостик, который не дает разложившемуся адреналину превращаться в адренохром. Если бы не хвостик, ты уже давно стала бы шизофреничкой. У тебя не бывает неприятностей с дыханием? Ты, когда спишь, например, не задыхаешься?

Я говорил каким-то злым голосом, хотя даже не понимал, был ли на самом деле зол.

Она долго не сводила с меня своих тусклых серых глаз. Вместо дешевой кожаной куртки модельеры подобрали ей матово-черный блузон, который скрывал ребра экзоскелета гораздо лучше. Лайза всегда застегивала его под горло, хотя в студии бывало порой слишком жарко. Днем раньше на ней пробовали что-то новое парикмахеры, но у них ничего не получилось, и ее непослушные темные волосы торчали над треугольным лицом, как перекошенный взрыв. Она смотрела мне в глаза, и я вдруг снова почувствовал, насколько целенаправленно она действует.

– Я вообще не сплю, Кейси.

Только гораздо позже я вспомнил, что Лайза извинилась – единственный раз; это было, как мне показалось, не в ее стиле; больше я от нее ничего подобного не слышал.

Диета Рубина состоит из сэндвичей, что продаются в автоматах, пакистанских блюд на вынос и кофе, тоже из автоматов. Я никогда не видел, чтобы он ел что-то другое. Мы сидим с ним в маленькой забегаловке на Четвертой улице, за крошечным столиком между стойкой и дверью в сортир, и едим самосы. Рубин заказал себе двенадцать штук – шесть с мясом и шесть с овощами. Глотает их одну за другой, не отвлекаясь ни на что, даже подбородок не вытирает. Он здесь бывает чуть ли не каждый день, хотя не выносит грека за стойкой. Тот, впрочем,

отвечает ему тем же – настоящие прочные отношения. Если грек уволится, Рубин, возможно, перестанет сюда ходить. Грек пялится на крошки, прилипшие к подбородку Рубина и осыпающиеся на куртку, а в перерывах между самосами, сузив глаза за грязными стеклами очков в стальной оправе, Рубин отвечает ему колючими взглядами.

Самосы – это обед. На завтрак у него куски подсохшего белого хлеба с яичным салатом, упакованные в молочно-белые пластиковые коробки, и шесть маленьких чашек ядовито-горького эспрессо.

– Ты не мог этого предвидеть, Кейси. – Рубин смотрит на меня в упор через захватанные стекла. – Потому что у тебя слабовато с латеральным мышлением. Ты всегда читаешь инструкции. Что, по-твоему, ей было нужно? Секс? Больше магика? Мировое турне? Она все это оставила позади. И оттого стала такой сильной. Все – позади. Вот почему «Короли грез» такой крутой хит, почему их все покупают, почему верят. Им это понятно. Все те мальчишки на Рынке, что греют зады у костров и не знают даже, где сегодня будут ночевать, они ей верят. За последние восемь лет это самый крутой эмоциодиск. Мне тут один из магазина на Гранвилл-стрит сказал, что «Королей» продают больше, чем всего остального. Замотались уже заказывать новые партии. Лайзу покупают, потому что Лайза такая же, как они, только глубже. Ни мечты, ни надежды. На них, на этих мальчишках, нет клеток, Кейси, но сами-то они все больше и больше просекают, что топчутся на месте, как в камере, и ничего им не светит. – Он стряхивает с подбородка жирные крошки, но три все равно остаются. – Лайза им это пропела, рассказала так, как они сами не смогут, нарисовала им картину. А деньги потратила, чтобы вырваться, вот и все.

Я смотрю, как пар оседает на окне и большими каплями стекает вниз, оставляя на запотевшем стекле мокрые дорожки. За окном угадывается частично «раздетая» «Лада»: колеса сняты, и машина стоит осями на асфальте.

– А много людей это с собой сделали, Рубин? Не знаешь?

– Не очень. Хотя трудно сказать, потому что большинство из них, наверно, политики, про которых мы с надеждой думаем, что они безвозвратно мертвы, – взгляд у него становится какой-то странный. – Не особенно благородная мысль. Но так или иначе, технология какое-то время была доступна прежде всего им. Даже для миллионеров это пока дорогое удовольствие, но я слышал по крайней мере о семи. Говорят, в «Мицубиси» раскошелились для Вайнберга – еще до того, как у него накрылась иммунная система. Он у них возглавлял гибридомную[02] лабораторию на Окаяме. Их

акции по моноклонам по-прежнему идут хорошо, так что, может быть, это и правда. И Ланглуа, француз этот, писатель... – Рубин пожимает плечами. – У Лайзы не было таких денег. Даже сейчас нет. Но она пробралась в нужное место и как раз в нужное время. Ей недолго оставалось до конца, но она попала в Голливуд, а там уже поняли, что «Короли» пойдут отлично.

В тот день, когда мы закончили работу, челночным рейсом «Джей-Эй-Эль» прибыла группа из Лондона, четверо тощих парней с гипертрофированным чутьем на рынок и, казалось, полным отсутствием эмоций – в общем, хорошо отлаженная, смазанная машина. Я усадил их рядом, в одинаковые кресла, в студии «Автопилота», намазал виски соляной пастой, прилепил электроды и прогнал им смикшированный вариант того, что готовилось как «Короли грез». Вернувшись в реальный мир, они загомонили все разом, на этакой британской разновидности тайного языка, с которым знакомы лишь студийные музыканты, замахали руками и полностью забыли про меня.

Но я кое-что разобрал и понял, что они в восторге. По их мнению, получилось просто здорово. Так что я подхватил куртку и смылся. Пасту могут и сами стереть.

В тот вечер я видел Лайзу в последний раз, хотя и не собирался с ней встречаться.

Мы возвращаемся назад к Рынку. Рубин звучно переваривает обед. В мокром асфальте отражаются красные тормозные огни машин, а город за Рынком кажется чистенькой скульптурой, высеченной из света, – ложь, в которой сломленные и потерянные зарываются в гоми, растущем, словно слой гумуса у подножий стеклянных башен.

– Мне завтра нужно во Франкфурт, собирать скульптуру. Хочешь со мной? Я могу оформить тебя как техническую службу. – Он ежится и втягивает голову в пятнистую куртку. – Платить не могу, но авиабилеты за счет фирмы, а?

Странно слышать от Рубина такое предложение, но я знаю, что он за меня беспокоится, думает, я слишком завожусь из-за Лайзы, и это единственное, что пришло ему в голову, – вытащить меня куда-нибудь из города.

– Во Франкфурте сейчас холоднее, чем здесь.

– Но тебе не помешало бы сменить обстановку, Кейси. Я не знаю...

– Спасибо, но у Макса для меня много работы. «Автопилот» теперь – известная фирма. Люди прилетают со всех концов света.

– Ну-ну...

Оставив музыкантов в «Автопилоте», я отправился домой. До Четвертой дошел пешком, а дальше поехал троллейбусом. Мимо витрин, которые я вижу каждый день, ярких, расцвеченных, веселых. Одежда, обувь, дискеты, японские мотоциклы, похожие на чистеньких эмалированных скорпионов, итальянская мебель... Витрины меняют тут каждый сезон, да и сами магазины – одни закрываются, другие открываются. Чувствовалось, что все происходит в предпраздничном режиме: больше людей на улицах, многие парами, быстро и целеустремленно шагают мимо ярких витрин куда-то, где продается именно то, что нужно подарить тем-то и тем-то. Половина девушек в высоких, выше колен, дутых стеганых сапогах из нейлона – мода пришла из Нью-Йорка прошлой зимой, и Рубин говорит, в этих сапогах они выглядят так, будто всех слоновость хватила. Вспомнив об этом, я невольно улыбнулся, и тут вдруг до меня дошло, что все кончилось, что с Лайзой я расквитался, что теперь ее утянет в Голливуд так же неотвратимо, как если бы она сунула ногу в космическую черную дыру, утянет немыслимой силы тяготение Больших Денег. Поверив, что она уже ушла из моей жизни – уведена, – я расслабился, снял оборону и почувствовал к ней жалость. Но только чуть-чуть. Потому что не хотел, чтобы что-нибудь портило мне вечер. Я хотел гулять и веселиться. Со мной этого уже давно не было.

Я вышел на своей остановке. Лифт сработал с первого раза – хороший знак, подумалось мне. Поднявшись домой, я разделся, принял душ, нашел чистую рубашку и разогрел в микроволновке несколько буррито. Приходи в себя, посоветовал я своему отражению, бреясь перед зеркалом. Ты слишком много работал. Твоя кредитная карточка растолстела, и пора это поправить.

Буррито напоминали по вкусу картон, но я решил, что мне это даже нравится, потому что они такие агрессивно-обычные. Машина у меня была на ремонте в Бернаби – водородный бак стал протекать, – так что вести не придется. Можно будет пойти и нарезаться от души, а утром позвонить Максу и сказать, что приболел. Выступать он не станет; я у него теперь «примадонна», и Макс мне кое-чем обязан.

Слышишь, Макс, я тебя теперь вот так держу, сказал я, достав из морозильника запотевшую бутылку «Московской» и обращаясь за неимением Макса к ней. Никуда ты теперь не денешься. Я три недели подряд редактировал грезы и кошмары одной очень сдвинутой особы, Макс. Для тебя. Чтобы ты толстел и процветал, Макс... Я налил на три пальца водки в пластиковый стаканчик, оставшийся от большой гулянки, что я устраивал с год назад, и

пошел обратно в гостиную.

Иногда мне кажется, что тут вообще никто не живет. В смысле живет, но он – никто. Не то чтобы у меня беспорядок, нет, в общем-то я неплохо справляюсь с уборкой, хотя делаю это скорее по привычке. Даже пыль на рамах сверху не забываю стирать, и все такое, но временами мне вдруг становится здесь как-то зябко, неуютно: тут ничего нет, кроме самого обычного набора самых обычных вещей. Не то чтобы мне хотелось завести кошку, горшки с цветами расставить или еще что. Просто иногда я думаю, что тут мог бы жить кто угодно; все так взаимозаменяемо, моя жизнь и ваша, моя и чья-то еще...

Я думаю, что Рубин именно так жизнь и воспринимает, но для него это источник силы и вдохновения. Он живет в чужом мусоре, и все, что он тащит домой, было когда-то новеньким и блестящим, что-то для кого-то значило, пусть хоть недолго. Вот он и собирает хлам в свой идиотский грузовик, свозит к себе и выдерживает до поры до времени, как в компостных кучах, пока не придумает что-нибудь новое, куда этот хлам можно употребить. Рубин как-то показывал мне свою любимую книгу по искусству двадцатого века, там была фотография движущейся скульптуры под названием «Мертвые птицы снова летят» – этакая конструкция, которая крутила на веревочках трупики мертвых птиц. Рубин улыбнулся и кивнул; я почувствовал, что он считает автора своего рода духовным наставником. Но что он подумает, глядя на мои плакаты в рамах, на мой мексиканский диван, на мою кровать из темперлона? Впрочем, решил я, он-то, возможно, и придумает что-нибудь необычное. Вот поэтому он известный художник, а я – нет.

Я подошел к окну и прижался лбом к стеклу, такому же холодному, как стакан у меня в руке. Пора двигаться, подумалось мне. Первые симптомы болезненного страха перед городским одиночеством. А это легко излечивается. Допиваешь. И идешь.

Нарезаться как следует мне в тот вечер так и не удалось. Но здравого смысла я тоже не проявил. Надо было плюнуть, пойти домой, посмотреть какой-нибудь древний фильмец и завалиться спать. Однако напряжение, копившееся во мне все эти три недели, гнало меня дальше, как пружина механических часов, и я продолжал слоняться по ночному городу, по большей части наугад, и время от времени добавлял то в одном баре, то в другом. Вот в такую ночь, казалось мне, легко ускользнуть в другой континуум, в альтернативный мир, где город выглядит точно так же, но там нет ни одного человека, которого ты любишь или знаешь, нет никого, с кем бы ты хоть однажды заговорил. В такую ночь можно зайти в знакомый бар и обнаружить, что там

заменили весь штат... А затем ты вдруг осознаешь, что и зашел-то лишь для того, чтобы увидеть хоть какое-то знакомое лицо – официантки, бармена, кого угодно... Веселью это, как известно, не способствует.

Я, однако, не останавливался, побывал уже в шести или семи заведениях, и в конце концов меня занесло в какой-то клуб в западной части города. Выглядел он так, будто обстановку там не меняли еще с девяностых годов: облупленный хром поверх пластика и размытые голограммы, от которых, если пытаться разобрать картинку, начинает болеть голова. Кажется, Барри мне об этом заведении рассказывал, но, убей Бог, не знаю зачем. Я огляделся и ухмыльнулся. Если специально ищешь какую-нибудь унылую дыру, то лучше места не найти. Да, сказал я себе, усаживаясь на угловой стул у стойки бара, то, что надо: и грустно, и гнусно. Настолько гнусно, что я, может быть, сумею остановить свое падение в эту бездонную дерьмовую ночь. Тоже неплохо будет. Вот сейчас приму еще на дорожку, повосторгаюсь этой пещерой и – на такси домой.

Тут я увидел Лайзу.

Она меня пока не заметила: я как вошел, так и сидел с поднятым от ветра воротником, Лайза устроилась в дальнем конце бара, а перед ней стояли два глубоких пустых фужера – их еще подают с такими маленькими гонконгскими зонтиками или пластиковыми русалками в коктейле. Когда она посмотрела на парня рядом с ней, я заметил у нее в глазах блеск магика и догадался, что напитки были безалкогольные: при таких дозах наркотика мешать его с алкоголем – верная смерть. Зато парень уже поплыл, с его лица не сходила тупая пьяная улыбка, и он едва не падал со стула, хотя все время что-то говорил, говорил, пытаясь сфокусировать взгляд на ее лице. Лайза сидела в своем новом черном блузоне, застегнутом до подбородка, и казалось, что ее череп просвечивает сквозь бледную кожу, как тысячеваттная лампа. Увидев ее в этом баре, я вдруг многое понял.

Понял, что она действительно умирает – или от магика, или от своей болезни, или от всего вместе. Что она давно это знает. Что парень рядом с ней слишком пьян, чтобы заметить экзоскелет, но дорогой блузон и то, как Лайза сорит деньгами, он тем не менее заметил. И что происходит именно то, на что это больше всего похоже.

Увиденное как-то не укладывалось в голове. Что-то во мне противилось моим же выводам.

А Лайза улыбалась – или, во всяком случае, изображала нечто в ее представлении похожее на улыбку – и своевременно кивала,

когда парень заплетающимся языком изрекал очередную глупость. Невольно вспоминалась ее фраза о том, что она любит смотреть.

Теперь я понимаю, что, не встреть я ее в этом баре, с этим парнем, мне было бы гораздо легче принять то, что случилось позже. Возможно, я бы даже порадовался за нее или как-то поверил в то, во что она превратилась – создала по своему образу и подобию, – в программу, которая притворяется Лайзой, причем настолько хорошо, что сама в это верит. Я бы поверил, как верит Рубин, что она все оставила позади, – Пресвятая Жанна электронного века, жаждущая лишь слияния со своим компьютерным божеством в Голливуде. Что в час прощания с этой жизнью она ни о чем не пожалеет. Что отбрасывает беспомощное настрадавшееся тело с криком облегчения. Что теперь она наконец свободна от полиуглеродных пут и постылой плоти. Может быть, так оно и есть. Я не сомневаюсь, что именно так она это и представляла раньше.

Но я видел ее в баре, видел, как она держит за руку этого пьяного парня, хотя сама даже не ощущает прикосновения. И я понял тогда, сразу и на всю жизнь, что мотивы человеческого поведения никогда не бывают ясными и однозначными. Даже у Лайзы, с ее безумным, разъедающим душу стремлением наверх, к славе и кибернетическому бессмертию, были слабости. Человеческие слабости. Я все понимал и сам себя за это ненавидел.

В тот вечер она решила попрощаться с собой. Найти кого-нибудь настолько пьяного, чтобы он сделал это за нее. Потому что Лайза действительно любила смотреть.

Думаю, она заметила меня на выходе: я чуть не бегом оттуда выскочил. И если заметила, то, наверно, возненавидела еще сильнее – за ужас и жалость, написанные на моем лице.

Больше я ее никогда не видел.

Надо будет как-нибудь спросить у Рубина, почему он не умеет смешивать ничего, кроме сауеров с «Дикой индейкой». Хотя крепкие получаются, ничего не скажешь… Рубин подает мне побитую алюминиевую кружку. Вокруг тикает, мельтешит, воровато переползает с места на место вся эта механическая мелкота, что он насоздавал.

– Тебе все-таки стоит махнуть во Франкфурт, – не унимается он.

– Зачем, Рубин?

– Затем, что рано или поздно она тебе позвонит. А ты, мне кажется, сейчас к этому не готов. Ты еще не очухался, а

программа будет говорить ее голосом, думать как она, и ты совсем свихнешься. Поехали-ка во Франкфурт, отойдешь немного. Ей там тебя не отыскать.

– Я же говорил: работы много, – отвечаю я, вспоминая, как увидел ее в баре. – И потом – Макс...

– Да пошли ты этого Макса куда подальше. Он на тебе кучу денег огреб, так что пусть не рыпается. Ты, кстати, и сам на «Королях» разбогател. Не ленись, позвони в банк – сам убедишься. Так что вполне можешь позволить себе небольшой отпуск.

Я смотрю на него и думаю, расскажу ли ему когда-нибудь о той последней встрече.

– Рубин, спасибо, приятель, но я просто...

Он вздыхает и отхлебывает из своей кружки.

– Вот скажи, если позвонит, это она будет или нет?

Рубин долго не сводит с меня пристального взгляда.

– А бог ее знает. – Кружка с легким стуком опускается на стол. – Я в том смысле, что технология уже отработана, так почему бы и нет, в самом-то деле.

– И ты считаешь, мне все-таки стоит махнуть во Франкфурт?

Рубин снимает очки в стальной оправе и протирает стекла о фланелевую рубашку – чище они от этого не становятся.

– Считаю. Тебе надо отдохнуть. Ты это сам поймешь. Если не сразу, то очень скоро.

– В смысле?

– Например, когда начнешь редактировать ее следующую запись. А этого, видимо, ждать недолго, потому что ей понадобятся деньги, и уже скоро. Она занимает в памяти машины, которая принадлежит какой-то корпорации, чертовски много места, и даже ее доли в «Королях» не хватит, чтобы полностью расплатиться за все эти дела. Ты ведь теперь ее редактор, Кейси. Кто же, кроме тебя?

Я сижу и смотрю, как он пристраивает очки обратно на нос, сижу, не шевелясь.

– Кто, как не ты, старик, а?

Одно из его творений издает негромкий отчетливый щелчок, и до меня вдруг доходит, что он прав.

notes

01

Буквально: «Радиохлам» – сеть дешевых магазинов радио-, кино-, и электронной аппаратуры.

02

Так в оригинале. *(note by LX)*